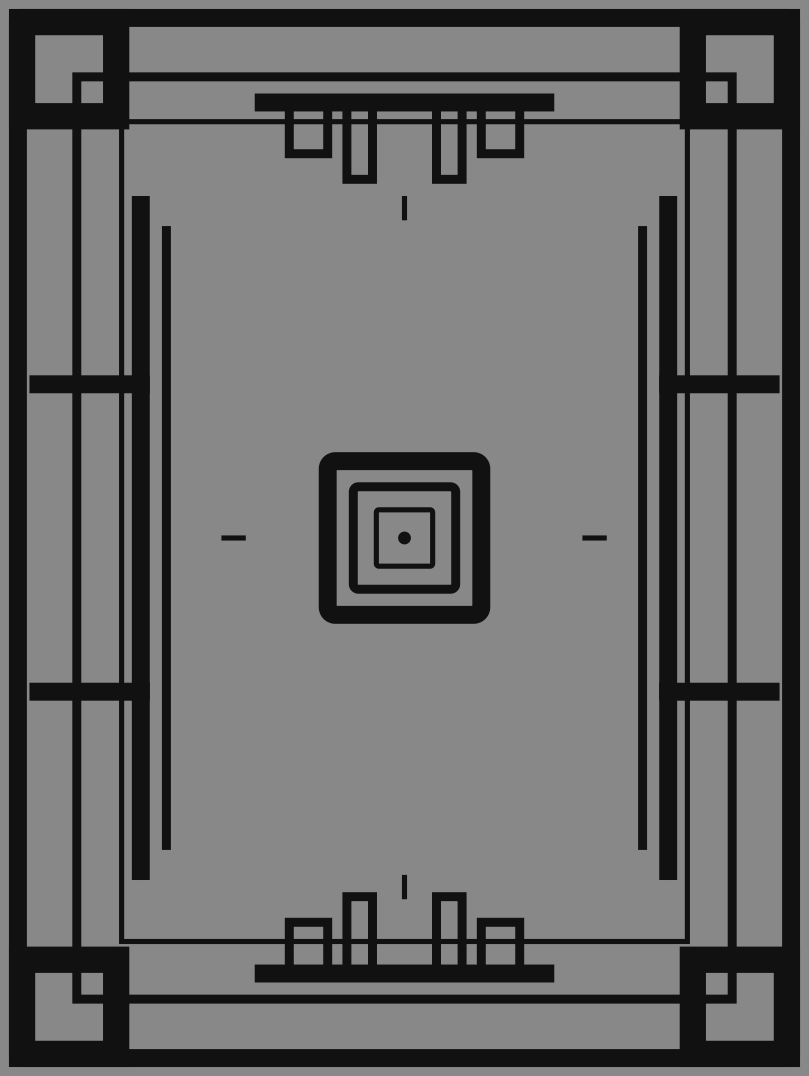

Открытая возможность
Уильям Сомерсет Моэм

Сомерсет Моэм. ОТКРЫТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Сомерсет Моэм
ОТКРЫТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Кроме них, в их купе в вагоне первого класса никого не было. Им повезло, ведь у них было много багажа: чемодан Олбена, большая дорожная сумка, чемоданчик Энн с туалетными принадлежностями и шляпная картонка. А в багажном вагоне еще два больших дорожных чемодана, в которых было все, что могло понадобиться сразу по прибытии. Остальной багаж Олбен поручил агенту транспортной компании, который должен был доставить его в Лондон и держать на складе, пока они не решат, как быть дальше. У них было много имущества: картины, книги, всякие редкости, которые Олбен коллекционировал на Востоке, его ружья и седла. Они навсегда покинули Сондуру. Олбен, по своему обыкновению, дал носильщику щедрые чаевые, а затем прошел к газетному киоску и накупил газет. Он взял «Нью стейтсмен» и «Нейшн», «Тэтлер», «Скетч» и последний номер «Лондон Меркьюри». Вернувшись в вагон, он бросил их на сиденье.

— Осталось ехать всего час, — заметила Энн.

— Знаю, но мне очень захотелось купить все. Я так долго сидел на голодном пайке. Как здорово, что завтра утром мы уже сможем прочесть свежие номера «Таймс», и «Экспресс», и «Мейл».

Она не ответила, и Олбен отвернулся, увидев,

что к ним приближаются двое — муж и жена, которые вместе с ними плыли из Сингапура.

— Ну как? Обошлось с таможней? — весело окликнул он их.

Мужчина, словно не слыша его, прошествовал не останавливаясь, но женщина ответила:

— Да, они так и не нашли сигареты.

Увидев Энн, она дружелюбно ей улыбнулась и пошла дальше. Энн покраснела.

— Я боялся, что они захотят войти в наше купе, — сказал Олбен. — Хорошо бы сделать так, чтобы оно осталось в нашем полном распоряжении, если, конечно, получится.

Энн посмотрела на него с любопытством.

— Думаю, на этот счет можно не беспокоиться. Вряд ли у нас будут соседи, — ответила она.

Он зажег сигарету и задержался у двери вагона. На его лице играла счастливая улыбка. Когда они оставили позади Красное море и вошли в Суэцкий канал, поднялся штормовой ветер, и Энн поразило, что мужчины, выглядевшие вполне презентабельными в белых парусиновых брюках, так изменились, надев одежду потеплее. Они стали такими безликими. Галстуки у них были ужасные, а рубашки совсем не подходили к костюмам. На одних были грубые фланелевые

брюки и поношенные спортивные куртки, явно купленные в магазине готового платья, другие облачились в синие костюмы из сержа — творения провинциальных портных. Большинство пассажиров сошли с парохода в Марселе, однако с десяток, видимо сочтя, что путешествие через Бискайский залив пойдет им на пользу, а может быть, подобно Олбену и Энн, из соображений экономии, доплыли до самого Тилбери, и сейчас кое-кто из них прогуливался по перрону. На одних были тропические шлемы, на других — широкополые фетровые шляпы с двойной тульей и тяжелые пальто, на третьих — бесформенные мягкие шляпы или котелки, которые были не слишком хорошо вычищены и, казалось, малы им. В таком виде они производили удручающее впечатление — выглядели провинциалами и людьми второго сорта.

У Олбена, однако, был уже вполне столичный вид. На его изящном пальто не было ни пылинки, а мягкая черная шляпа выглядела абсолютно новой. Никто бы не подумал, что он не был на родине три года. Воротник костюма нигде не оттопыривался, фуляровый галстук был ловко повязан. Глядя на него, Энн не могла удержаться от мысли, что он интересный мужчина. Роста

он был чуть меньше шести футов, стройный, одежда на нем всегда сидела прекрасно и была хорошего покроя. У него были светлые и пока что не поредевшие волосы, голубые глаза и слегка желтоватый цвет лица, обычный для блондинов, после того как они утрачивают бело-розовую свежесть ранней молодости. На щеках не было румянца. Благородная голова, хорошо посаженная на довольно длинной шее с несколько выдающимся кадыком. Однако впечатляла не только красота лица, сколько его благородство. Именно потому, что у него были такие правильные черты лица, такой прямой нос, такой широкий лоб, он так хорошо выходил на фотографиях. Глядя на его фотографию, можно было подумать, что он необычайно красив. На самом же деле красавцем он не был, возможно, из-за слишком светлых бровей и ресниц и тонких губ, зато выглядел весьма интеллигентно. В его лице были те утонченность и духовность, которые, непонятно почему, трогают сердце. Именно так, по общему мнению, полагается выглядеть поэту, и когда Энн стала его невестой, на вопросы подруг, как он выглядит, она всегда отвечала, что он похож на Шелли. Сейчас Олбен повернулся к Энн, улыбаясь одними глазами, и эта улыбка делала его очень

привлекательным.

— Лучшего дня для возвращения в Англию не придумаешь! — сказал он.

Стоял октябрь. Пока они плыли через Ла-Манш, и море и небо были серыми. Не ощущалось и малейшего дуновения ветерка. Рыбачьи лодки покоились на мирных водах, как будто стихии никогда не были враждебны человеку. Берега Англии были невероятно зелеными, но это была веселая, приветливая зелень, столь непохожая на буйную и яркую зелень джунглей Восточной Азии. Маленькие города, застроенные домами из красного кирпича, мимо которых они плыли, выглядели по-семейному уютными. Казалось, они приветствовали возвращавшихся на родину изгнанников дружелюбной улыбкой. Когда пароход медленно вошел в устье Темзы, перед ними возникли зеленые равнины Эссекса, а через некоторое время на кентском берегу показалась на фоне лесных массивов Кобема одинокая церковь Чолк среди искореженных ветром деревьев. Красный шар солнца скрылся в легкой дымке где-то в болотах, наступила темнота. Станция освещалась дуговыми фонарями, каждый из которых был как островок холодного жесткого света среди окружающей тьмы. Вид носильщиков, снова-

ших в своих неуклюжих униформах по перрону, радовал сердце. Приятно было видеть и толстого начальника станции в котелке, придававшем ему важность. Наконец начальник станции дал свисток и махнул рукой. Олбен вошел в вагон и уселся в углу напротив Энн. Поезд тронулся.

— В шесть десять прибываем в Лондон, — сказал Олбен. — К семи, должно быть, доберемся до Джермин-стрит. Час на то, чтобы принять ванну и переодеться, и в половине девятого уже можем отправиться поужинать в «Савой». Сегодня, дорогая, нам полагается бутылка шампанского и шикарный обед. — Он хохотнул. — Я слышал, как Струды и Монди договаривались встретиться в ресторанчике «Трокадеро».

Затем он взял газеты, предварительно спросив, не хочет ли она какую-нибудь почитать. Энн покачала головой.

— Устала? — спросил он с улыбкой.

— Нет.

— Волнуешься?

Она отделалась смешком, позволявшим избежать ответа.

Олбен стал проглядывать газеты, начав с объявлений. Энн понимала, что ему доставляет огромное удовольствие снова быть в курсе теку-

щих событий. Те же самые газеты они получали и в Сондуре, но — полуторамесячной давности. Благодаря им они, конечно, следили за всем, что происходит в мире и что для них интересно, однако это отставание во времени лишь подчеркивало их изоляцию. Здесь же были газеты, только-только сошедшие с печатного станка. Они даже пахли иначе. Бумага хранила свежесть, вызывавшую у Олбена сладостное ощущение. Ему хотелось читать их все сразу.

Энн глядела в окно. Окрестности скрывались во тьме, в стекле отражались только огни их вагона. Но вскоре на них надвинулся город: сначала появились неприглядные домишки, целые мили таких домишек. Кое-где в окнах горел свет, а трубы уныло вырисовывались на фоне неба. Вот они проехали Баркинг, вот Истхэм, вот Бромли, — смешно, что название станции над перроном так взволновало ее, — наконец, Степни. Олбен сложил газеты и произнес:

— Через пять минут прибываем.

Надев шляпу, он снял с полки над окном вещи, которые туда сложил носильщик. Он глядел на нее блестящими глазами, губы у него подергивались. Энн понимала, что он едва скрывает волнение. Олбен тоже выглянул в окно — внизу

были ярко освещенные проезды, забитые трамваями, автобусами и грузовиками. На улицах было полно народу. Какая толпа! Все магазины ярко освещены. На обочине стояли уличные торговцы со своими лотками и тележками.

— Лондон, — сказал Олбен.

Взяв Энн за руку, он нежно пожал ее. У него была такая милая улыбка, что она не могла промолчать и попыталась отшутиться.

— Ты не чувствуешь, как у тебя к сердцу что-то подступает?

— Не знаю. То ли хочется плакать, то ли тошнит.

Вот и Фенчерч-стрит. Он опустил раму окна и жестом подозвал носильщика. Тормоза заскрежетали, поезд остановился. Носильщик открыл дверь, и Олбен стал передавать ему одну кладь за другой. Потом он спрыгнул сам и с присущей ему вежливостью подал руку Энн, чтобы помочь ей спуститься на перрон. Носильщик пошел за тележкой, а они стояли возле груды своего багажа. Олбен помахал рукой проходившим мимо двум пассажирам из тех, с кем они плыли на пароходе. Один из них сухо кивнул.

— Как хорошо, что больше не придется вести себя вежливо с этими жуткими типами, — безза-

ботно заметил Олбен.

Энн бросила на него быстрый взгляд. Его действительно трудно было понять. Тут вернулся носильщик с тележкой, на которую поставили багаж, и они отправились вслед за ним, чтобы забрать большие чемоданы. Олбен взял руку жены и пожал ее.

— Запах Лондона, какой он замечательный, чувствуешь?

Ему доставляли радость и шум, и суета, и людская толчея, а свет дуговых фонарей и отбрасываемые ими резкие и глубокие черные тени приводили его в восторг. Они выбрались на улицу, и носильщик пошел искать для них такси. Олбен сияющими глазами смотрел на автобусы и на полисменов, пытающихся внести какой-то порядок в эту всеобщую суету. Его благородное лицо казалось чуть ли не вдохновенным. Подошло такси. Багаж погрузили в отделение рядом с водителем. Олбен дал носильщику полкроны, и такси тронулось. Они проехали по Грейсчерч-стрит, а на Кэннон-стрит попали в пробку. Олбен громко рассмеялся.

— В чем дело? — спросила Энн.

— Ни в чем, просто мне очень здорово.

Далее они проследовали по набережной. Здесь

было сравнительно спокойно. Мимо ехали такси и лимузины. Звонки трамваев казались Олбену музыкой. У Вестминстерского моста они пересекли Парламентскую площадь и повернули в зеленую тишину Сент-Джеймсского парка. Онизаказали номер в гостинице совсем рядом с Джермин-стрит. Портье проводил их наверх, а швейцар принес багаж. Номер был двухместный, с ванной.

— Что ж, совсем неплохо! — сказал Олбен. — Во всякомслучае, сойдет, пока не подыщем себе квартиру или еще что-нибудь.

Он посмотрел на часы:

— Послушай, дорогая, если мы примемся вдвоем распаковывать вещи, то будем только мешать друг другу. Впередиу нас масса времени, а ты обычно приводишь себя в порядок гораздо дольше, чем я. Поэтому я пока удеру. Схожу в клуб посмотреть, нет ли для меня писем. Мой смокинг в чемодане, а чтобы принять ванну и одеться, мне понадобится всего двадцать минут. Ну как, устраивает тебя мой план?

— Да, вполне.

— Через час я вернусь.

— Прекрасно.

Он вынул из кармашка маленькую расческу,

которую всегда носил при себе, и провел ею по длинным светлым волосам. Потом надел шляпу и бросил взгляд в зеркало.

— Включить тебе воду для ванны?

— Не стоит.

— Ну ладно. Пока.

Он ушел.

После его ухода Энн вынула чемоданчик с туалетными принадлежностями и шляпную коробку и поставила на крышку большого чемодана со своими вещами. Затем вызвала звонком горничную и, не снимая шляпы, села и закурила сигарету. Она попросила горничную прислать носильщика. Когда тот явился, Энн указала на свой багаж:

— Пожалуйста, снесите все это вниз. Потом я скажу, что делать с вещами.

— Хорошо, мэм.

Энн дала носильщику два шиллинга. Он вынес большой чемодан и все остальное и закрыл за собой дверь. Несколько слезинок скатилось по щекам Энн, но она встряхнулась, вытерла глаза и припудрила лицо. Ей требовалось все ее мужество. Хорошо, что Олбену пришло в голову сходить в клуб. Это давало ей время обдумать план действий.

Теперь, когда пришло время выполнить давно принятое решение, когда ей предстояло сказать те ужасные вещи, которые нужно было сказать, она дрогнула. Сердце у нее упало. Она точно знала, что именно скажет Олбену, решение она приняла давным-давно и сотни раз повторяла сама себе все слова, по три-четыре раза в день, в течение всего долгого плавания из Сингапура до Лондона. И все же она боялась сбиться и смешаться. Она страшно боялась, что начнется спор. Ей делалось нехорошо при мысли о том, что может произойти сцена. Как бы там ни было, хорошо уже то, что в ее распоряжении целый час, чтобы собраться с силами. Олбен станет говорить, что она бессердечная и жестокая, что у нее нет никаких оснований так поступать. Но она была бессильна изменить свое решение.

— Нет, нет, нет, — громко сказала она.

Ее передернуло от ужаса. И сразу же она вновь представила себя в бунгало, как она сидела, когда все началось. Время близилось к ленчу.

Через несколько минут Олбен должен был прийти из конторы. Ей доставляло удовольствие думать о том, что он вернется в уютный дом, на большую веранду, которая у них играла роль гостиной. Она знала, что, хотя они жили здесь

уже полтора года, он всякий раз заново радовался тому, как хорошо она все устроила. Жалюзи были опущены для защиты от полуденного солнца, и проникавший сквозь них приглушенный свет создавал впечатление прохлады и тишины. Энн гордилась своим домом. По службе мужа им приходилось переезжать из округа в округ, и они редко задерживались где-нибудь надолго, но на каждом новом месте она с новым энтузиазмом бралась за устройство уютного и привлекательного жилища. Она была очень современна. Гости, бывало, удивлялись тому, что у них не было никаких безделушек. Их поражали смелые цвета ее занавесок, они не воспринимали приглушенных тонов на репродукциях картин Мари Лоренсен и Гогена в посеребренных рамах, которые были так продуманно развешаны на стенах. Энн отдавала себе отчет в том, что мало кто из них вполне одобрял ее дом. Добропорядочные дамы в Порт-Уоллесе и Памбертоне считали такой интерьер вычурным и совершенно неуместным в жилом доме. Но это ее не волновало. Со временем они усвоят. Непривычное шло им только на пользу. Вот и тогда она тоже оглядывала длинную просторную веранду с довольным вздохом художника, удовлетворенного результатом сво-

их трудов. Ярко. Ничего лишнего. Можно было отдохнуть душой. Ее дом освежал глаз и щекотал фантазию. Три огромные вазы с желтыми каннами завершали цветовую гамму. Глаза Энн минуту задержались на полках, заполненных книгами. И это тоже смущало здешнюю европейскую колонию — то, что у них столько книг, причем таких странных и, на вкус колонистов, таких заумных. Энн задержала на книгах долгий нежный взгляд, как будто перед ней были живые существа. Потом перевела взгляд на пианино. На подставке для нот лежали раскрытые ноты — какое-то произведение Дебюсси; перед уходом в контору Олбен играл эту вещь.

Когда Олбен получил назначение начальником Дактарского округа, знакомые выражали ей сочувствие, потому что из всех округов Сондуры это был самый дальний и труднодоступный. Между ним и городом, где размещался административный центр, не было ни телеграфной, ни телефонной связи. Но Энн это нравилось. Они пробыли там уже порядочное время и, как она надеялась, останутся еще на двенадцать месяцев, когда Олбен получит отпуск и они поедут на родину. Дактарский округ размерами не уступал любому английскому графству. Он имел протя-

женную береговую линию, а море в этом районе было усеяно маленькими островками. Территорию округа пересекала широкая извилистая река, по берегам которой возвышались горы, покрытые девственным лесом. Сама станция, расположенная довольно далеко вверх по реке, состояла из ряда китайских лавок и туземной деревни, гнездившейся среди кокосовых пальм. Там же находились административный центр округа, бунгало начальника округа, домик, где жил клерк, и бараки. Ближайшими и единственными их соседями были управляющий каучуковой плантацией, находившейся выше по реке, в нескольких милях от административного центра, а также управляющий лесной концессией на одном из притоков реки и его помощник — оба голландцы. Катер плантации дважды в месяц совершал рейсы по реке и был их единственным средством связи с внешним миром. Но, хотя жили они одиноко, скучно им не было.

Весь день у них был расписан с утра до вечера. На рассвете их ждали пони, и, пока еще было по-утреннему свежо и тропинки, протоптанные в джунглях лошадьми, еще хранили тайну тропической ночи, они совершали прогулки верхом. Возвратившись, оба принимали ванну,

переодевались и завтракали, после чего Олбен шел в контору. Энн же по утрам писала письма и работала. С первого дня в этой стране она влюбилась в нее и приложила немало усилий, чтобы освоить язык туземцев. Местные истории о любви, ревности и смерти разжигали ее воображение. Она любила слушать романтические истории о совсем недавнем времени, стремилась проникнуться фольклором этого чужого народа. И она, и Олбен много читали. У них имелась довольно значительная для этих мест библиотека, и новые книги приходили из Лондона почти с каждой почтой. От них не ускользало ничего заслуживающего внимания. Олбен любил играть на пианино и для дилетанта играл очень хорошо. В свое время он довольно серьезно занимался музыкой, у него были хорошее туше и отличный слух. Он мог читать ноты с листа, и для Энн всегда было удовольствием сидеть рядом с ним и следить, как он разбирает что-то новое.

Но самым большим удовольствием для них были поездки по округу. Иногда они уезжали на целых две недели. Обычно они спускались вниз по реке на прау и плавали от одного островка к другому, купались в море и ловили рыбу, либо отправлялись вверх по течению до мелководья,

где деревья с двух берегов смыкались кронами, так что небо из-за них едва просвечивало. Здесь гребцам приходилось отталкиваться от дна шестами. На ночевку останавливались в хижинах туземцев. Олбен и Энн купались в речных заводях, настолько чистых, что можно было видеть отливавший серебром донный песок. Эти места были так тихи, так прекрасны и оторваны от всего мира, что хотелось остаться здесь навсегда. Порой они уходили в поход в джунгли, спали под парусиновым пологом и, невзирая на мучивших их москитов и сосавших кровь пиявок, наслаждались каждой минутой. Где еще спится так крепко, как на раскладушке в палатке? А потом была радость возвращения домой, наслаждение комфортом хорошо обустроенного домашнего очага, письма и газеты с родины — и пианино.

Олбен присаживался к пианино, пальцы его жаждали коснуться клавиш, и Энн чувствовала, что он вкладывает в то, что играет — в музыку Стравинского, Равеля, Дариуса Мийо, — свои собственные ощущения: ночные звуки джунглей, рассвет в устье реки, звездные ночи и кристальную прозрачность лесных озер.

Иногда обрушивался ливень, не прекращавшийся несколько дней подряд. Тогда Олбен

занимался китайским языком. Он задался целью овладеть им, чтобы общаться с местными китайцами на их языке. Энн же в дождливые дни занималась тысячью вещей, до которых в другое время у нее не доходили руки. Такие дни еще больше сближали их: им всегда было о чем поговорить, и пока каждый занимался своим делом, обоим было приятно ощущать, что они рядом. Их союз был чудом. В дождливые дни, которые заточали их в стенах бунгало, они еще сильнее ощущали себя единым целым перед лицом всего остального мира.

Иногда они ездили в Порт-Уоллес. Это разнообразило жизнь, однако Энн всегда была рада вернуться домой. В Порт-Уоллесе ей всегда бывало не по себе. Она сознавала, что тем, с кем они там встречались, Олбен отнюдь не симпатичен. То были очень заурядные люди, выходцы из среднего класса, с налетом провинциализма, лишенные тех интеллектуальных интересов, которые делали их с Олбеном жизнь столь многогранной и насыщенной. Многие из них были людьми ограниченными и недоброжелательными. Но поскольку супругам было суждено провести больший отрезок жизни в общении с этими людьми, Энн было неприятно, что они

плохо относятся к Олбену. Они считали его высокомерным. Олбен был с ними очень вежлив, но Энн понимала, что им не по нраву его учтивость. Когда он пытался разыгрывать весельчака, они говорили, что он рисуется, а когда он шутливо подтрунивал над ними, считали, что, проходясь на их счет, он их высмеивает.

Однажды, когда они гостили у губернатора, миссис Хэнни, супруга губернатора, которая очень хорошо относилась к Энн, заговорила с ней на эту тему. Возможно, сам губернатор подсказал ей, чтобы она намекнула Энн на это обстоятельство.

— Знаете, дорогая, очень жаль, что ваш супруг не делает попытки сблизиться с людьми. Он очень умен, ваш муж. Может, было бы лучше, если б он не подчеркивал своего превосходства. Муж только вчера сказал мне: «Конечно, я знаю, что Олбен Торел — самый способный человек в администрации, но он, как никто другой, ухитряется вызывать во мне неприязнь. Я губернатор, но, когда он со мной разговаривает, у меня всегда возникает впечатление, что он смотрит на меня как на круглого дурака».

Хуже всего было то, что Энн прекрасно знала: Олбен невысокого мнения об умственных способностях губернатора.

— Это у него выходит ненарочно. Он совсем не хочет подчеркивать свое превосходство, — ответила Энн с улыбкой. — Правда-правда, он совсем не высокомерный. Наверное, так получается потому, что у него прямой нос и высокие скулы.

— Вы же знаете, что в клубе его недолюбливают. Его прозвали Перси-пуховка[1].

Энн покраснела. Она слышала об этом, и это ее возмущало. На глаза у нее навернулись слезы.

— По-моему, это страшно несправедливо.

Миссис Хэнни взяла ее за руку и слегка сжала в знак своего расположения.

— Дорогая, вы понимаете, что мне не хочется задевать ваши чувства. Вашему мужу суждено достигнуть больших высот по службе. Для него самого было бы намного лучше, если б он вел себя попроще, как все. Почему, например, он не играет в футбол?

— Ну, просто это не его вид спорта. Зато в теннис он всегда играет охотно.

— Разве? Создалось впечатление, что он не видит среди нас достойных партнеров.

— Но это и правда так, — сказала уязвленная

---

[1] Примечания: 1

В спортивных кругах это ироническое прозвище дают чересчур осторожному боксеру, который предпочитает увертываться от ударов противника, будучи сам не в состоянии играть жестко. — *Примеч. пер.*

Энн.

Олбен действительно был теннисистом высокого класса. В Англии он участвовал во многих турнирах, и Энн было известно, что ему доставляло некоторое злорадное удовольствие гонять по корту этих добродушных толстяков. Даже самых искусных из них он умел выставить тюфяками. На теннисном корте он мог вытворять черт знает что, и Энн знала, что порой он поддавался искушению.

— Он красуется перед публикой, правда? — спросила миссис Хэнни.

— Не думаю. Поверьте, сам Олбен даже не подозревает, что непопулярен. Лично мне кажется, что он всегда старается быть вежливым и любезным с каждым.

— Именно этим он больше всего и отталкивает людей, — сухо заметила миссис Хэнни.

— Знаю, что нас недолюбливают, — согласилась Энн, принужденно улыбаясь. — Очень жаль, но, боюсь, тут ничего не поделаешь.

— К вам это не относится, дорогая, — воскликнула миссис Хэнни. — Вас-то как раз все обожают. Только из-за вас они и мирятся с вашим мужем. Вас просто нельзя не любить.

— Не представляю, за что меня обожать, — ска-

зала Энн.

Тут она была не совсем искренна. Ведь она умышленно играла роль славной, непритязательной женщины, а в душе страшно этим забавлялась. Олбен раздражал людей потому, что в нем было столько изысканности, что его интересы лежали в сфере искусства и литературы, они же ничего не понимали в таких вещах и потому считали их недостойными мужчины. Они недолюбливали Олбена, потому что он был способнее их и лучше воспитан. Они считали его высокомерным, но он действительно превосходил всех, только не в том смысле, как понимали они. Ее они прощали, потому что она была маленькая дурнушка. Так она сама себя называла, однако отнюдь не была дурнушкой, а если и была, то очень привлекательной. Она смахивала на маленькую, но очень милую и очень добрую обезьянку. У нее была складная фигурка. Это было ее главное достоинство. Это — и еще глаза. Они были у Энн очень большие, темно-карие, блестящие, теплые, веселые, порой становившиеся очень нежными и сочувственными. Волосы у нее были почти черные, вьющиеся, кожа смуглая, носик маленький, мясистый, с большими ноздрями, рот слишком велик для лица. Но она была жизнерадостной и

оживленной. Она могла с неподдельным интересом беседовать с дамами в английской колонии об их мужьях и прислуге, об их детях, учившихся в Англии, и выслушивать с искренним участием мужчин, рассказывавших ей истории, зачастую уже известные ей. В ней видели очень приятного и хорошего человека. Они не знали, что в душе она над ними смеялась. Никому и в голову не приходило, что она считала их людьми ограниченными, малокультурными и претенциозными. Они не находили ничего привлекательного в Востоке, потому что самый их подход к Востоку был вульгарно-материалистическим. Романтика стояла у них на пороге, а они гнали ее, как назойливую нищенку. Энн держалась сдержанно и только повторяла про себя строчку из Лендора: «Природу я любил, природу — и искусство».

Разговор с миссис Хэнни заставил ее задуматься, но в целом не пробудил тревоги. Энн задавалась вопросом: не рассказать ли о нем Олбену — ей всегда казалось немного странным, что муж совсем не отдает себе отчета в своей непопулярности, но она побоялась: если расскажет, Олбен утратит непринужденность. Ведь он никогда не замечал, что мужчины в клубе относятся к нему холодно. При нем они стеснялись и

переставали чувствовать себя свободно. Поэтому его появление всякий раз порождало чувство неловкости. Однако, к счастью для себя, он не понимал этого, был весел и любезен со всеми. Дело в том, что он, как ни странно, был не способен понимать чувства других. Она и сама избегала панибратства — это не было принято в кругу их лондонских друзей, но он так и не сумел осознать, что люди в колониях — правительственные чиновники, плантаторы и их жены — тоже люди и тоже способны чувствовать. Для него они были просто пешками в игре. Он смеялся вместе с ними, поддразнивал их и дружелюбно терпел. Энн про себя посмеивалась: он напоминал ей учителя начальной школы, который вывез малышей на пикник и старается, чтобы им было весело.

Она боялась, что если расскажет Олбену о разговоре с миссис Хэнни, это ничего не даст. Олбен был не способен притворяться, играть роль, что, к счастью, так легко давалось ей. Но разве с англичанами в колониях можно было вести себя по-другому? Мужчины приехали в колонию юнцами, только-только окончив второразрядную школу, и жизнь ничему их не научила. В пятьдесят лет по уму они оставались незрелыми подростками. В большинстве своем они злоупо-

требляли спиртным, ничего стоящего не читали и прежде всего стремились быть как все. Высшей похвалой в их устах было «чертовски славный парень». Если же человек имел какие-то духовные интересы, значит, он «много о себе понимал». Их снедали зависть друг к другу и мелкая ревность. А женщины, бедняжки, были одержимы соперничеством друг с другом. Здешнее общество было куда более провинциальным, чем в самом маленьком английском городке. Это были ограниченные и самодовольные люди, к тому же недобрые. Что ж, что Олбен пришелся им не по вкусу? Им придется терпеть его, раз уж его способности неоспоримы: он умен, энергичен, никто не может сказать, что он плохо выполняет свою работу; куда его ни назначали, он везде проявлял себя отлично. Благодаря природной чуткости и воображению, он понимал мышление туземцев и добивался от них того, что не сумел бы никто другой. Обладая способностями к языкам, он овладел всеми местными диалектами. Он знал не только самый распространенный из них, который освоило большинство должностных лиц в администрации, но был знаком и с языковыми тонкостями, а когда требовалось, умел пустить в ход особо церемонные выражения, что льстило

туземным правителям и производило на них сильное впечатление. У него были организаторские способности. Он не боялся ответственности. Со временем он мог рассчитывать на пост резидента. В Англии у Олбена были кое-какие связи: его отец, бригадный генерал, погиб во время войны, и хотя у сына не было капитала, зато имелись влиятельные друзья. О них он говорил с добродушной иронией. «Важное преимущество демократического правительства, — говаривал он, — заключается в том, что человек может твердо рассчитывать: его заслуги получат должное признание, если за него есть кому замолвить словечко».

Олбен, несомненно, был самым способным среди колониальных чиновников, поэтому казалось вполне логичным, что со временем он может стать губернатором. Вот тогда-то, думала Энн, его манера, в которой так и сквозит превосходство, на что все жаловались, будет вполне уместна. Тогда они признают его своим хозяином, а уж он-то сумеет заставить себя уважать и подчиняться себе. Высокое положение, рисовавшееся ей, не пугало ее. Она принимала его как должное. Олбену будет занятно стать губернатором, а ей — губернаторшей. А какие возможности откроются

перед ними! Они как овцы — все эти правительственные чиновники и плантаторы. Если дом губернатора станет очагом культуры, они скоро подстроятся к общему тону. Если лучшим способом добиться благосклонности губернатора будет интеллигентность, последняя войдет в моду. Они с Олбеном начнут поощрять самобытные туземные искусства, начнут любовно собирать памятники исчезнувшего прошлого. Страна так продвинется вперед, как никто и не мечтал. Они будут всемерно содействовать ее развитию, понятно, в соответствии с требованиями порядка и красоты. Они пробудят в подчиненных любовь к этой прекрасной стране и благожелательный интерес к населяющим ее романтическим народностям. Научат подчиненных любить музыку и понимать ее. Будут поощрять литературу. Будут создавать красоту. Наступит золотой век.

Внезапно Энн услышала шаги Олбена. Она очнулась от своих мечтаний. Все это было делом далекого будущего. Пока что Олбен был всего-навсего начальником округа, и значение имело лишь то, как они живут в настоящее время. Она услышала, как Олбен прошел в душевую и облился водой. Через минуту он вошел в дом. Он переоделся — сейчас на нем были рубашка и

шорты. Светлые волосы были еще мокрыми.

— Как насчет ленча? — спросил он.

— Все готово.

Он присел за пианино и заиграл ту же пьесу, которую играл утром. Каскад серебряных звуков как бы охлаждал духоту дня. Возникал образ чопорного английского сада с большими деревьями, искусно сделанными фонтанами и неторопливыми прогулками по дорожкам, окаймленным псевдоклассическими статуями. Олбен играл с особенной проникновенностью.

Старший бой объявил, что еда подана. Олбен встал из-за пианино. Рука об руку они прошли в столовую. Там лениво колыхалась пунка[2], навевая прохладу. Энн оглядела стол. Накрытый цветной скатертью и уставленный тарелками с веселым узором, он выглядел нарядно.

— Что интересного было утром в конторе? — спросила она.

— Да ничего особенного. Разбиралось дело о буйволе. Ах да, еще передали просьбу Принна, чтобы я приехал на плантацию. Кто-то из кули портит деревья; он хочет, чтобы я разобрался на месте.

---

[2] Примечания: 2

Пунка *(индийск.)* — подвешенное опахало.

Принн был управляющим каучуковой плантацией в верховьях реки, и время от времени они ездили к нему с ночевкой. А порой, когда Принну хотелось проветриться, он приезжал к обеду и ночевал в бунгало начальника округа. Принн нравился им обоим. Он был мужчина лет тридцати пяти, с красным, изрезанным морщинами лицом и очень черными волосами. Человек малообразованный, нрав он имел веселый и легкий, а поскольку других англичан ближе чем в двух днях пути не было, им оставалось довольствоваться его обществом. Сначала Принн несколько стеснялся их. На Востоке новости распространяются быстро, и задолго до того, как супруги прибыли в этот округ, до него дошли слухи, что они интеллектуалы. Он не знал, как сложатся их отношения. Вероятно, он не отдавал себе отчета в том, что наделен природным обаянием, которое восполняло отсутствие многих других достоинств, а чуть ли не по-женски восприимчивый Олбен особенно ценил это качество. Принн, со своей стороны, обнаружил, что Олбен гораздо более общителен и снисходителен к человеческим слабостям, чем можно было рассчитывать; что до Энн, так ее он нашел просто обворожительной. Олбен играл Принну на пианино регтайм (чего

не стал бы делать и для самого губернатора), не отказывался и от партии в домино. Когда Олбен впервые предпринял инспекционную поездку по своему округу в сопровождении Энн и сказал Принну, что им хотелось бы провести пару дней на его плантации, тот сразу предупредил, что живет с туземкой, от которой у него двое ребятишек. Он постарается, сказал он, чтобы они не попадались на глаза Энн, но отослать никуда не может — просто некуда. В ответ Олбен рассмеялся:

— Энн совсем не из таких. Даже не думайте прятать своих ребятишек. Она обожает детей.

Энн быстро подружилась с застенчивой хорошенькой маленькой туземкой и вскоре весело играла с детьми. Она вела с их матерью долгие доверительные беседы. Дети полюбили ее. Она привозила им чудные игрушки из Порт-Уоллеса. Принн, сравнивая ее ласковую терпимость с неодобрительной холодностью других белых женщин в колонии, говорил, что она его ошеломила. Он всячески старался выказать свое восхищение и благодарность.

— Если все интеллектуалы вроде вас, — заявил он им, — то я за интеллектуалов.

Принна пугала мысль, что через год они навсегда покинут этот округ. Он не исключал, что

следующий начальник окажется женатым и его супруга придет в ужас оттого, что он, Принн, чем быть одиноким, стал жить с туземкой, да еще и, страшно сказать, очень к ней привязался.

Однако в последнее время на плантации возникли волнения. Кули-китайцы подхватили коммунистическую заразу и начали проявлять строптивость. Олбену пришлось приговорить нескольких за различные правонарушения к разным срокам тюремного заключения.

— Принн говорит, что, как только срок их контракта истечет, он отправит всех обратно в Китай и наберет яванцев, — сказал Олбен Энн. — Я считаю, он прав. С яванцами гораздо легче управиться.

— Как по-твоему, можно ждать больших неприятностей?

— Нет, нет. Принн свое дело знает и к тому же достаточно решительный человек. Он не потерпит никаких глупостей, а мы с нашими полицейскими поддержим его. Вряд ли кули пойдут на какие-нибудь фокусы. — Он улыбнулся. — Железный кулак в бархатной перчатке.

Не успел он закончить фразу, как неожиданно раздались крики. Послышались шум, топот ног, громкие голоса.

— Туан! Туан!

— В чем дело, черт побери?

Олбен вскочил и быстро прошел на веранду. Энн пошла следом. У крыльца сгрудились туземцы — сержант, трое или четверо полицейских, лодочники и несколько мужчин из поселка.

— В чем дело? — спросил Олбен.

Двое или трое что-то прокричали в ответ. Сержант оттолкнул остальных, и Олбен увидел лежащего на земле человека в рубашке и шортах защитного цвета. Олбен сбежал с крыльца. В человеке он признал метиса — помощника Принна. Шорты его были в крови, на лице и голове тоже запеклась кровь. Он был без сознания.

— Несите его в дом, — крикнула Энн с веранды.

Олбен отдал распоряжение. Метиса подняли, перенесли на веранду и опустили на пол. Энн подложила ему под голову подушку. Она приказала принести воды и аптечку.

— Он мертв? — спросил Олбен.

— Нет.

— Попробуйте дать ему бренди.

Лодочники рассказали ужасную новость. Китайские кули внезапно взбунтовались и напали на контору управляющего. Принна убили, а его

помощник Окли чудом спасся. Он наткнулся на бунтовщиков, когда те грабили контору, увидел, как выбросили из окна труп Принна, и припустил изо всех сил. Китайцы его заметили и стали преследовать. Он побежал к реке и был ранен, когда прыгал в катер. Катеру, однако, удалось отчалить прежде, чем китайцы сумели забраться на борт, и находившиеся в нем люди поспешили вниз по реке за подмогой. Отплывая, они увидели, что здание конторы и окружающие строения охвачены пламенем. Несомненно, кули сожгли все, что могло гореть.

Окли издал стон и приоткрыл глаза. Это был маленький смуглый человек с плоским лицом и курчавыми жесткими волосами. В его больших с туземным разрезом глазах застыл ужас.

— Не бойтесь, — сказала Энн. — Вы в безопасности.

Он облегченно вздохнул и слабо улыбнулся. Энн обмыла его лицо и протерла антисептической жидкостью. Рана на голове была неглубокой.

— Вы можете говорить? — спросил Олбен.

— Подожди, — прервала Энн, — надо осмотреть его ногу.

Олбен приказал сержанту выдворить толпу с веранды. Энн разрезала штанину шорт. Ткань

прилипла к подсохшей ране.

— Кровь так и била, — пожаловался Окли.

Кость не затронуло, распорота была только мышца. Хотя рана начала снова кровоточить, умелые пальцы Олбена остановили кровь. Олбен обработал рану и наложил повязку. Сержант и полицейский перенесли Окли в шезлонг. Олбен дал ему бренди с содовой, и вскоре тот был в состоянии говорить. Но знал он не больше того, о чем уже рассказали лодочники. Принн был мертв, а дома на плантации полыхали.

— А что случилось с женщиной и детьми? — спросила Энн.

— Не знаю.

— Ох, Олбен!

— Я должен вызвать полицию. Вы уверены, что Принн мертв?

— Да, сэр. Я видел его труп.

— Есть ли у бунтовщиков огнестрельное оружие?

— Не знаю, сэр.

— Как это не знаете? — раздраженно воскликнул Олбен. — Разве у Принна не было ружья?

— Было, сэр.

— У других тоже. Одно у вас, так? И у старшего надсмотрщика.

Метис молчал. Олбен сурово смотрел на него.

— Сколько там этих проклятых китайцев?

— Сто пятьдесят.

Энн недоумевала, зачем Олбен задает столько вопросов. Казалось, он напрасно теряет драгоценное время. Сейчас главное было собрать кули, чтобы отправить их вверх по реке, подготовить лодки и раздать полицейским боеприпасы.

— Сколько полицейских в вашем распоряжении, сэр? — спросил Окли.

— Восемь и сержант.

— Могу я с вами? Тогда нас будет десять. Я уверен, что после перевязки смогу идти.

— Я остаюсь здесь, — сказал Олбен.

— Но ты должен отправиться на плантацию, Олбен! — воскликнула Энн. Она не верила своим ушам.

— Глупости! Отправляться туда сейчас — чистое безумие. От Окли пользы мало, через несколько часов у него наверняка поднимется температура. Он будет только обузой. Значит, остается девять ружей. А китайцев сто пятьдесят человек, у них есть огнестрельное оружие и сколько угодно боеприпасов.

— Откуда ты знаешь?

— Элементарный здравый смысл подсказыва-

ет, что в противном случае они не устроили бы такое. Плыть туда сейчас было бы просто идиотизмом.

Энн от изумления открыла рот. В глазах Окли тоже было недоумение.

— Что же ты намерен делать?

— У нас, к счастью, есть катер. Я пошлю его в Порт-Уоллес с просьбой прислать подкрепление.

— Но ведь подкрепление доберется сюда не раньше чем через два дня.

— Ну и что? Принн мертв, контора сгорела, плантация сожжена. Какая польза от нас, если мы туда и отправимся? Я пошлю туземца разведать как и что, тогда будем точно знать, что делают бунтовщики. — Олбен наградил Энн своей обаятельной улыбкой. — Поверь, дорогая, днем раньше, днем позже, но эти мерзавцы получат свое.

Окли хотел было что-то сказать, но, возможно, не осмелился. Он был всего лишь метис, помощник управляющего. Олбен же, как администратор округа, олицетворял власть правительства. Однако глаза метиса отыскали взгляд Энн, и ей показалось, что он ищет у нее поддержки.

— Но ведь за два дня они могут такого натворить! — воскликнула она. — Страшно подумать.

— Какой бы ущерб они ни причинили, они поплатятся. Обещаю тебе.

— Ах, Олбен, не можешь же ты сидеть сложа руки. Умоляю — отправляйся туда сам, и немедленно.

— Не глупи. Мне не подавить мятежа всего с восемью полицейскими и сержантом. Я просто не имею права идти на такой риск. Добираться придется на лодках. Как ты думаешь: сумеем мы пробраться незамеченными? Высокая трава по берегам — идеальное прикрытие. Нас перестреляют, как куропаток. Никакого шанса на успех.

— Если два дня ничего не предпринимать, боюсь, китайцы примут это за слабость, — сказал Окли.

— Когда мне понадобится ваше мнение, я вас спрошу, — ответил Олбен ледяным тоном. — Как я понимаю, при первой угрозе вы сразу дали стрекача. Вряд ли от вас будет много помощи в критическую минуту.

Метис покраснел. Больше он не сказал ни слова и только смотрел прямо перед собой беспокойным взглядом.

— Я иду в контору, — сказал Олбен. — Напишу краткое донесение и немедленно отошлю с катером вниз по реке.

Он отдал приказ сержанту, который все это время неподвижно стоял на верхней ступеньке крыльца. Тот откозырял и убежал. Олбен пошел в маленькую прихожую за своим шлемом, Энн побежала за ним.

— Олбен, ради Бога, удели мне минутку, — прошептала она.

— Не хочу быть с тобой грубым, дорогая, но я очень спешу. Думаю, тебе не следует вмешиваться не в свое дело.

— Ты не можешь сидеть сложа руки, Олбен. Ты должен отправиться, хоть это и рискованно.

— Не будь дурой, — отрезал он.

Раньше Олбен никогда на нее не сердился. Энн схватила его за руку, пытаясь удержать.

— Я тебе сказал, что лезть туда мне сейчас бесполезно.

— А вот этого никто не знает. Там остались женщина и дети Принна. Мы обязаны что-то сделать для их спасения. Позволь мне отправиться с тобой. Ведь они их убьют.

— Если уже не убили.

— Как можешь ты быть таким бесчувственным! Если остался хоть один шанс их спасти, твой долг — попытаться.

— Мой долг — действовать трезво. Я не соби-

раюсь рисковать своей жизнью и жизнью моих полицейских ради туземки и ее полукровок. Ты что, за дурака меня принимаешь?

— Но ведь скажут, что ты струсил.

— Кто скажет?

— Все в колонии.

Он презрительно улыбнулся:

— Знала бы ты, как мне плевать на мнение всех здесь в колонии.

Она пристально на него посмотрела. Уже восемь лет они были женаты, и Энн научилась читать любое выражение его лица, любую его мысль. Она глядела в его голубые глаза, как в открытые окна. Внезапно она побледнела, выпустила его руку и отвернулась. Не проронив больше ни слова, она вернулась на веранду. На ее некрасивой мордашке был написан ужас.

Олбен вернулся в контору, составил краткий отчет о случившемся — только факты, ничего больше, — и через несколько минут катер уже тарахтел вниз по реке.

Два следующих дня тянулись бесконечно. Спасшиеся бегством с плантации туземцы рассказали, что там творится. Однако из их взволнованных, бессвязных рассказов было невозможно получить точное представление о том, что произошло

на самом деле. Было пролито немало крови. Старший надсмотрщик был убит. Рассказывали дикие истории о насилии и жестокости. Однако о сожительнице Принна и его двух детях Энн не удалось узнать ничего. Ее бросало в дрожь при мысли о том, какая судьба могла их постигнуть. Олбен сколотил отряд, собрав столько туземцев, сколько мог. Они были вооружены копьями и мечами. Он реквизировал лодки. Положение было серьезное, но Олбен сохранял хладнокровие. Он был убежден, что сделал все возможное и теперь ему не остается ничего другого, как поддерживать заведенный порядок. Он выполнял свои обычные обязанности. Он играл на пианино. По утрам выезжал с Энн на прогулку. Казалось, он позабыл, что впервые за их совместную жизнь между ними возникла серьезная размолвка. Он считал само собой разумеющимся, что Энн признала мудрость его решения. Он, как и прежде, был ласковым и веселым, разговаривал шутливым тоном; если же говорил о бунтовщиках, то с мрачной иронией. Когда настанет время расплачиваться, многие из них горько пожалеют, что родились на свет.

— А что с ними будет? — спросила Энн.

— Повесят. — Он брезгливо пожал плечами. —

Ненавижу присутствовать при казнях, от них меня тошнит.

Он очень сочувствовал Окли — того уложили в постель, и Энн ухаживала за ним. Возможно, Олбен жалел, что в ту отчаянную минуту говорил с ним оскорбительным тоном, и изо всех сил старался загладить это любезностью.

На третий день, когда после ленча они пили кофе, тонкий слух Олбена расслышал рокот приближающегося катера. В тот же миг на веранду взбежал полицейский с сообщением, что виден катер британской администрации.

— Наконец-то! — воскликнул Олбен.

Он выскочил из дома. Энн приподняла жалюзи и посмотрела на реку. Рокот мотора раздавался совсем близко, а через несколько секунд из-за поворота появился и сам катер. Она увидела, как Олбен сел в прау, а когда катер бросил якорь, поднялся на его борт. Энн сообщила Окли, что подкрепление прибыло.

— А начальник округа пойдет с ними на бунтовщиков? — спросил он.

— Естественно, — ответила Энн холодно.

— Как знать.

Энн испытывала странное чувство. Эти два дня она с трудом удерживалась от слез. Ничего не

ответив на слова Окли, она вышла из комнаты.

Спустя четверть часа Олбен вернулся в бунгало с офицером полиции, которого прислали с двадцатью сикхами на подавление бунта. Капитана Стрэттона, человека маленького роста, с красным лицом, рыжими усами и кривыми ногами, очень добродушного и смелого, она часто встречала в Порт-Уоллесе.

— Ну и заварушка, скажу я вам, миссис Торел, — громко и весело произнес Стрэттон, пожимая ей руку. — Вот и я с моей армией. Все полны отваги и готовы к драчке. Вставайте, парни, и — вперед! Найдется что-нибудь выпить в этом вашем захолустье?

— Бой, — улыбнувшись, позвала Энн.

— Чего-нибудь холодненького, слегка алкогольного, чтобы посмаковать, и я буду готов обсудить план кампании.

Его бодрый тон действовал успокоительно. Исчезли унылое напряжение и страх, которые воцарились в их когда-то столь мирном бунгало после случившейся беды.

Явился бой с подносом, и Стрэттон смешал себе виски с содовой. Олбен рассказал ему о положении дел. Он излагал факты ясно, кратко и точно.

— Должен признаться, я восхищаюсь вами, —

сказал Стрэттон. — На вашем месте я ни за что не смог бы удержаться от искушения взять восемь моих полицейских и самому вздуть мерзавцев.

— Я счел это абсолютно не оправданным риском.

— Безопасность прежде всего, старина, не так ли? — благодушно заметил Стрэттон. — Ну, я очень рад, что вы не пошли на риск. Нам нечасто выпадает возможность помахать кулаками. С вашей стороны было бы нехорошо забрать себе все лавры.

Капитан Стрэттон был за то, чтобы немедленно отправиться вверх по реке и атаковать, но Олбен указал ему на нежелательность такого образа действий. Тарахтенье приближающегося катера насторожит бунтовщиков, заросли на берегу обеспечат им прикрытие, а наличие у них огнестрельного оружия затруднит высадку. Казалось неоправданным подвергать нападающих обстрелу. Глупо было бы забывать, что предстоит иметь дело со ста пятьюдесятью отчаянными людьми, которые могут устроить засаду. Олбен изложил свой собственный план. Стрэттон слушал его, изредка кивая головой. План был явно хорош. Он позволял обрушиться на бунтовщиков с тыла, захватив их врасплох, и достигнуть цели, не по-

теряв скорее всего ни одного человека. Было бы глупо не согласиться с этим планом.

— Но почему вы сами не сделали этого? — спросил Стрэттон.

— Имея в своем распоряжении всего восемь человек и одного сержанта?

Стрэттон не ответил и только сказал:

— Как бы то ни было, идея неплохая, на ней мы и остановимся. У нас есть еще время в запасе, так что с вашего разрешения, миссис Торел, я пойду приму душ.

Они отправились на закате — капитан Стрэттон и двадцать его сикхов, Олбен со своими полицейскими и туземцами. Ночь была темная, безлунная. За катером тянулись лодки, реквизированные Олбеном, в которые, пройдя определенное расстояние, они собирались пересадить свой отряд. Важно было действовать бесшумно, чтобы бунтовщики не догадались об их приближении. В течение трех часов они продвигались на катере, потом пересели в лодки и пошли на веслах. Добравшись до границ плантации, они высадились на берег. Проводники повели их по такой узкой тропе, что пришлось идти гуськом. Тропой давно не пользовались, идти было нелегко. Дважды понадобилось пере-

ходить речки вброд. Тропа привела их обходным путем в тыл деревни, где жили кули, но напасть решили только на рассвете, поэтому Стрэттон дал приказ остановиться. Ждать пришлось долго. Было холодно. Наконец тьма начала понемногу отступать. Хотя стволы деревьев были еще неразличимы, их присутствие уже ощущалось — они были чуть светлее окружавшей тьмы. Стрэттон сидел, привалившись спиной к дереву. Он шепотом отдал приказ сержанту, и через несколько минут колонна вновь тронулась в путь. Неожиданно для себя они вышли на широкую дорогу. Тут они построились по четыре. Стало светать, и в призрачном свете смутно вырисовывались окружающие предметы. По приказу, отданному шепотом, колонна остановилась. Они достигли такого места, откуда были видны жилища кули. В них царила тишина. Колонна неслышно приблизилась и снова остановилась. У Стрэттона блестели глаза. Он улыбнулся Олбену:

— Мы накрыли мерзавцев спящими.

Он выстроил своих людей. Они зарядили ружья. Выйдя на шаг вперед, Стрэттон поднял руку. Карабины были нацелены на жилища кули.

— Огонь!

Прозвучал залп. В деревне поднялся невероят-

ный гвалт, из хижин повыскакивали китайцы, крича и размахивая руками, а впереди — к полному изумлению Олбена — бежал белый, орал что есть силы и грозил кулаком.

— Что за черт, кто это? — воскликнул Стрэттон.

Очень крупный и очень толстый мужчина в штанах защитного цвета и в майке приближался с такой быстротой, какую позволяли его толстые ноги. На бегу он грозил им кулаком и орал:

— Smerige flikkers! Verlockte ploerten!

— Боже мой, это же Ван Хассельт, — сказал Олбен.

Голландец Ван Хассельт был управляющим лесной концессией на одном из более широких притоков реки, примерно в двадцати милях от каучуковой плантации.

— Черт возьми, что это вы тут вытворяете? — спросил он, отдуваясь, когда подбежал к ним.

— Черт побери, вас-то как сюда занесло? — спросил Стрэттон, в свою очередь.

Он видел, что китайцы рассыпались в стороны, и отдал своим людям команду окружить их и согнать в одно место. Затем снова повернулся к Ван Хасселту:

— Что это значит?

— Что значит? Что значит? — прокричал в ярости голландец. — Я сам хотел бы знать! Вы со своими проклятыми полицейскими заявляетесь сюда ни свет ни заря и принимаетесь палить ни с того ни с сего. Вы что, решили потренироваться в стрельбе по мишеням? Могли ведь убить меня, идиоты!

— Сигарету не хотите? — предложил Стрэттон.

— Каким образом вы здесь, Ван Хасселът? — снова спросил Олбен в полном недоумении. — Наш отряд прислали из Порт-Уоллеса подавить бунт.

— Каким образом? Пешком пришел. А как же еще, по-вашему? Какой, к черту, бунт. Я усмирил бунт. Если вы за этим сюда явились, можете забирать своих чертовых полицейских и возвращаться назад. Пуля просвистела прямо у меня над головой.

— Не понимаю, — сказал Олбен.

— Тут нечего понимать, — брызгал слюной Ван Хасселът, все еще беснуясь. — Несколько кули прибежали ко мне и сказали, что китаезы убили Принна и сожгли контору. Я взял моего старшего помощника, главного надсмотрщика и приятеля-голландца, он как раз у меня гостил, и пришел посмотреть, что тут происходит.

Капитан Стрэттон широко раскрыл глаза.

— Что, просто так пришли сюда, как на пикник? — спросил он.

— Неужели вы думаете, что, прожив в этой стране столько лет, я позволю паре сотен китаез навести на меня страх? Да они сами были до смерти перепуганы. Один, правда, посмел навести на меня ружье, но я тут же вышиб ему мозги. Ну, а остальные сразу сдались. Я приказал связать зачинщиков. Собирался сегодня утром послать за вами лодку, чтобы вы приехали и забрали их.

Стрэттон с минуту ошеломленно глядел на него, а затем покатился со смеху. Он смеялся до слез. Голландец сердито смотрел на него, потом тоже стал хохотать. Он смеялся утробным смехом очень толстого человека, и жирные складки его тела тряслись. Олбен хмуро наблюдал за ними. Он был очень сердит.

— Как насчет сожительницы Принна и его ребятишек?

— С ними все в порядке, они спаслись.

Все это лишний раз доказывало, как мудро он поступил, не поддавшись истерике Энн. Конечно же, дети не пострадали. Он и не думал, что с ними может что-то случиться.

Ван Хасселт со своим маленьким отрядом отправился назад в лагерь лесорубов, а вскоре и

Стрэттон посадил в лодки своих двадцать сикхов, оставив Олбену его сержанта и полицейских, чтобы те приняли надлежащие меры, а сам отплыл в Порт-Уоллес. Олбен вручил ему краткий отчет для передачи губернатору. У него было много дел. Судя по всему, ему предстояло порядком здесь задержаться, а так как все строения конторы сгорели дотла и сам он был вынужден разместиться в хижине кули, он счел за лучшее, чтобы Энн оставалась дома, и послал ей соответствующую записку. Он был рад, что смог успокоить ее насчет судьбы несчастной сожительницы Принна. Сам он сразу же приступил к предварительному дознанию. Он допросил кучу свидетелей. Но через неделю Олбену пришел приказ немедленно прибыть в Порт-Уоллес на том же катере, который доставил ему это распоряжение. По пути ему удалось лишь на какой-то час повидаться с Энн. Олбен был несколько раздосадован.

— Не понимаю, почему губернатор не дал мне наладить дела, вызвав к себе. Это крайне неудобно.

— Боже мой, когда это губернатора волновало, удобны или неудобны для подчиненных его распоряжения? — улыбнулась Энн.

— Бюрократизм чистейшей воды. Я бы взял те-

бя с собой, дорогая, но только я не задержусь там ни минуты сверх необходимого. Хочу как можно скорее подготовить материалы для выездного суда. В такой стране, как эта, очень важно, чтобы правосудие не запаздывало.

Когда катер подошел к Порт-Уоллесу, один из портовых полицейских сказал Олбену, что у начальника порта его ждет записка. Записка была от секретаря губернатора. Олбена уведомляли, что по прибытии он должен как можно скорее явиться к его превосходительству. Было десять утра. Олбен пошел в клуб, принял ванну, побрился, надел чистые брюки, аккуратно пригладил светлые волосы, вызвал рикшу и велел отвезти себя к губернатору. Его сразу же провели в кабинет секретаря. Тот пожал ему руку.

— Пойду доложу начальству, что вы здесь, а вы пока присядьте, — сказал он.

Вскоре секретарь вернулся.

— Его превосходительство через минуту вас примет. Если не возражаете, я закончу разбирать письма.

Олбен улыбнулся. Нельзя сказать, чтобы секретарь был очень разговорчив. Он ждал, покуривая сигарету, и развлекался собственными мыслями. Предварительное дознание он провел успешно,

ему было интересно им заниматься. Наконец явился дежурный и сказал, что губернатор готов его принять. Олбен встал и проследовал за ним в кабинет губернатора.

— Доброе утро, Торел.

— Доброе утро, сэр.

Губернатор сидел за большим письменным столом. Он кивнул Олбену и указал на стул. Во внешности губернатора превалировал серый цвет — седые волосы, серое лицо, серые глаза; он вообще выглядел так, будто выцвел на тропическом солнце. Он прожил в этой стране тридцать лет и шаг за шагом прошел все ступени служебной лестницы. Сейчас он казался усталым и удрученным. Даже голос его звучал как-то тускло. Олбену губернатор нравился потому, что был человеком спокойным. Он не считал губернатора умным, но, бесспорно, никто лучше его не знал эту страну, а огромный опыт с успехом заменял ему ум. Губернатор, не говоря ни слова, остановил на Олбене долгий взгляд, и тому пришла в голову странная мысль, что губернатор в замешательстве. Он чуть было не заговорил первым.

— Вчера я встречался с Ван Хассельтом, — внезапно произнес губернатор.

— Да, сэр?

— Изложите, пожалуйста, свою версию того, что произошло на плантации Алуд, и доложите о принятых вами мерах.

У Олбена был весьма упорядоченный ум. Он вполне владел собой. Он знал все факты, выстроил стройную аргументацию и смог четко изложить дело. Он тщательно подбирал слова и ни разу не запнулся.

— В вашем распоряжении имелись один сержант и восемь полицейских. Почему вы не отправились немедленно на место происшествия?

— Я не хотел идти на неоправданный риск.

На сером лице губернатора обозначилась легкая усмешка.

— Если бы офицеры нашего правительства колебались идти на неоправданный риск, эта страна никогда не стала бы частью Британской империи.

Олбен молчал. Трудно было разговаривать с человеком, который говорит явную чепуху.

— Я хочу услышать, на каких основаниях вы приняли решение.

Олбен спокойно изложил эти основания. Он был совершенно убежден в правильности своих действий. Сейчас он лишь повторил более развернуто то, что ранее говорил жене. Губернатор

внимательно слушал.

— Ван Хассельт со своим управляющим, голландским приятелем и надсмотрщиком-туземцем, похоже, отлично справился с ситуацией, — сказал губернатор.

— Ему просто повезло. Но это не мешает ему быть круглым дураком. То, что он сделал, было безумием.

— Вы хоть понимаете, что, предоставив голландскому плантатору выполнить за вас ваше дело, вы поставили колониальную администрацию в смешное положение?

— Нет, сэр.

— Вы сделались посмешищем для всей колонии.

Олбен улыбнулся:

— У меня достаточно крепкие нервы, чтобы вынести насмешки людей, мнение которых мне абсолютно безразлично.

— Ценность должностного лица в очень многом зависит от его престижа. Боюсь, этот престиж очень пострадает, когда его заклеймят как труса.

Олбен слегка покраснел.

— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, сэр.

— Я вник в это дело. Я поговорил с капитаном

Стрэттоном и с Окли, помощником несчастного Принна, говорил и с Ван Хассельтом. А сейчас я выслушал ваши оправдания.

— Не знал, что я в чем-то оправдываюсь, сэр.

— Будьте добры, не прерывайте меня. Я считаю, что вы совершенно неверно оценили ситуацию. Как оказалось, риск был очень невелик, но каков бы он ни был, вам следовало пойти на этот риск. В таких случаях дело решают быстрота и твердость. Не стану гадать, какие мотивы побудили вас послать за полицейским подкреплением и ничего не предпринимать, пока оно не прибыло. Боюсь, однако, что вы уже не можете быть полезны нам как представитель администрации.

Олбен смотрел на губернатора с изумлением.

— А сами вы бросились бы на место происшествия, учитывая обстоятельства? — спросил он.

— Да.

Олбен пожал плечами.

— Вы мне не верите? — взорвался губернатор.

— Конечно, верю, сэр. Но может быть, вы позволите мне сказать, что, если бы вас убили, колония понесла бы невосполнимую утрату.

Губернатор барабанил по столу пальцами. Он посмотрел в окно, потом снова на Олбена. Когда он заговорил, голос его прозвучал отнюдь не

сердито.

— Думаю, Торел, что по своему темпераменту вы не годитесь для нашей довольно-таки грубой жизни, такой, где важно выстоять в драке. Последуйте моему совету и возвращайтесь в Англию. Уверен, что с вашими способностями вы скоро подыщете себе гораздо более подходящее занятие.

— Боюсь, я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Бросьте, Торел, вы же не тупица. Я пытаюсь облегчить вам жизнь. Ради вашей жены, да и вас самого я не хочу, чтобы вы уехали из колонии с клеймом человека, уволенного за трусость. Я даю вам возможность самому подать в отставку.

— Очень благодарен вам, сэр, но я не собираюсь воспользоваться этой возможностью. Подав в отставку, я тем признаю себя виноватым, а предъявленное вами обвинение — справедливым. Я же этого не признаю.

— Как вам угодно. Я рассмотрел дело очень тщательно, и у меня сложилось вполне определенное мнение. Я вынужден уволить вас с государственной службы. Все необходимые документы вы получите в надлежащее время, а пока что возвращайтесь на свой пост и готовьтесь сдать дела чиновнику, которого назначат вашим

преемником.

— Очень хорошо, сэр, — ответил Олбен, и в глазах его мелькнула радость. — Когда вы желаете, чтобы я вернулся в мой округ?

— Немедленно.

— Вы не возражаете, если я схожу в клуб и позавтракаю, перед тем как отбыть?

Губернатор поглядел на него с изумлением. Несмотря на раздражение, он невольно восхищался Олбеном.

— Отнюдь нет. Сожалею, Торел, что этот злополучный инцидент лишил администрацию сотрудника, рвение которого бросалось в глаза, а такт, ум и трудолюбие, казалось, предвещали в будущем очень высокий пост.

— Ваше превосходительство, вероятно, не читает Шиллера и, судя по всему, не знаком с его знаменитой строкой: «Mit der Dummheit kampfen die Gotter selbst vergebens».

— Что это значит?

— «Против глупости сами боги бороться бессильны». Примерно так.

— Всего хорошего.

С высоко поднятой головой и с улыбкой на губах Олбен покинул кабинет губернатора. Последнему не было чуждо ничто человеческое, и позднее

любопытство побудило его спросить секретаря, действительно ли Олбен Торел пошел в клуб.

— Да, сэр. Он там позавтракал.

— Ну и выдержка у этого человека.

Олбен вошел в клуб беспечной походкой и присоединился к группе мужчин, толпившихся у бара. Он заговорил с ними своим обычным самоуверенным, но любезным тоном, который, как он считал, создает атмосферу непринужденности. Они обсуждали Олбена с тех самых пор, как Стрэттон вернулся в Порт-Уоллес со своей историей, издевались и смеялись над ним, а те, кому было не по нраву его высокомерие — и таких было большинство, — торжествовали, что гордец споткнулся и упал. Они смешались, когда увидели Олбена таким же самоуверенным, как и прежде. Это они, а не он испытывали неловкость.

Кто-то спросил, хотя прекрасно все знал, что он делает в Порт-Уоллесе.

— Прибыл в связи с бунтом на плантации Алуд. Его превосходительство пожелал меня видеть. Увы, наши точки зрения на то, что произошло, не совпали. Старый осел уволил меня. Как только сдам дела новому начальнику округа, возвращаюсь в Англию.

Возникло некоторое замешательство. Один

из мужчин, более добродушный, чем другие, произнес:

— Очень жаль.

Олбен пожал плечами:

— Голубчик, что прикажете делать с круглым дураком? Только предоставить ему вариться в собственном соку.

Когда секретарь губернатора передал шефу ровно столько, сколько счел нужным, губернатор улыбнулся:

— Мужество — странная штука. Будь я на его месте, я бы скорей застрелился, чем вот так пошел в клуб, зная, что встречусь там со всеми нашими.

Через две недели, продав новому начальнику округа все убранство дома, над которым в свое время столько потрудилась Энн, упаковав остальное имущество в чемоданы и сундуки, они прибыли в Порт-Уоллес, чтобы там дождаться парохода местной линии, который должен был доставить их в Сингапур. Жена католического священника пригласила их пожить у нее, но Энн отказалась. Она настояла на том, чтобы остановиться в гостинице. Через час после их прибытия ей принесли очень любезное письмо от жены губернатора с приглашением на чашку чая. Она поехала. Миссис Хэнни была одна, но через ми-

нуту к ней присоединился сам губернатор. Он выразил сожаление по поводу отъезда Энн и сказал, что очень огорчен его причиной.

— Спасибо за добрые слова, — сказала Энн, весело улыбаясь, — но не думайте, что я очень расстраиваюсь. Я полностью на стороне Олбена. По-моему, он был абсолютно прав, и, уж простите меня, я считаю, что вы поступили с ним ужасно несправедливо.

— Поверьте, я пошел на этот шаг скрепя сердце.

— Не будем об этом говорить, — промолвила Энн.

— Что собираетесь делать в Англии? — спросила миссис Хэнни.

Энн принялась оживленно болтать. Можно было подумать, что у нее нет никаких забот. Она, казалось, с радостью предвкушала возвращение в Англию, была весела, много шутила, а прощаясь с губернатором и его супругой, поблагодарила их за сердечность и доброту. Губернатор проводил ее до дверей.

Через два дня они вечером погрузились на небольшой, но чистенький и комфортабельный пароход. Их провожали священник и его жена. Когда Олбен и Энн вошли в каюту, то обнаружи-

ли на койке Энн большой пакет, адресованный Олбену. Вскрыв пакет, Олбен увидел огромную пуховку.

— Вот те на — кто, интересно, это прислал? — сказал он со смехом. — Должно быть, это для тебя, дорогая.

Энн бросила на него быстрый взгляд. Она побледнела. Скоты! Как можно быть такими жестокими? Однако она заставила себя улыбнуться.

— Вот так пуховка. Я такой огромной в жизни не видела.

Но когда пароход вышел в открытое море, она со злостью выбросила пуховку за борт.

Даже теперь, в Лондоне, когда от Сондуры их отделяло девять тысяч миль, кулаки Энн сжимались при воспоминании об этом. Почему-то случай с пуховкой казался особенно обидным. Такая бессмысленная жестокость — послать этот абсурдный предмет Олбену, Перси-пуховке, такая мелочная злоба. Но, видимо, такое у них чувство юмора. Ничто ее так не уязвило. Даже сейчас при воспоминании об этой пуховке она чувствовала, что если не будет держать себя в руках, то разрыдается.

Вдруг она вздрогнула — дверь открылась, и вошел Олбен. Он оставил ее сидящей в кресле

— и там же нашел ее.

— Привет, почему ты еще не одета? — Олбен оглядел комнату. — Ты до сих пор не распаковала вещи?

— Нет.

— А почему, скажи на милость?

— Я не собираюсь их распаковывать. Я здесь не останусь. Я ухожу от тебя.

— Что такое ты говоришь?

— До сих пор я сдерживалась. Решила молчать, пока не вернемся в Англию. Я стискивала зубы, превозмогала себя, но сейчас все кончено. Я сделала все, что от меня требовалось. Мы снова в Лондоне, и теперь я могу уйти.

Он смотрел на нее, совершенно ошеломленный.

— Ты что, с ума сошла, Энн?

— Ах, Боже мой, что я вынесла! Рейс до Сингапура, когда все офицеры, все, от капитана до мичмана, знали — и даже китайские стюарды знали. А в Сингапуре — какие взгляды бросали на нас люди в гостинице, их сочувственные замечания, которые мне приходилось терпеть, их неловкость и смущение, когда они осознавали свой промах. Боже мой, мне хотелось всех их убить. Это бесконечное путешествие. На пароходе

не было ни одного пассажира, который не знал бы. Презрение, с которым они относились к тебе, и подчеркнуто доброе обхождение со мной. А ты был таким самодовольным, таким спокойным, ничего не замечал, ничего не чувствовал. Должно быть, у тебя не кожа, а шкура носорога. Мне жутко было смотреть, как ты с ними болтаешь и любезничаешь. Парии — вот кем мы были. Ты словно напрашивался на то, чтобы тебя осадили. Как можно до такой степени утратить стыд?

Она пылала от гнева. Теперь наконец-то ей не надо носить маску безразличия и гордости, и она отбросила всякую сдержанность, потеряла контроль над собой. Слова бешеным потоком срывались с ее дрожащих губ.

— Дорогая, но ведь это абсурд, — возразил он с добродушной улыбкой. — Ты разнервничалась, не выдержала напряжения, оттого тебе и взбрело в голову невесть что. Почему ты мне ничего не сказала? Ты похожа на деревенщину, который приезжает в Лондон и думает, что все только на него и смотрят. Никому до нас не было дела, а если и было, то какое это имело значение? Вот уж не думал, что ты, такая умница, станешь принимать к сердцу то, что говорят всякие дураки. Ну и что, по-твоему, они говорили?

— Они говорили, что тебя выгнали.

— Что ж, это правда, — рассмеялся он.

— Они говорили, что ты трус.

— Ну и что из того?

— Вся беда в том, что это тоже правда.

Он посмотрел на нее, как бы размышляя. Губы его чуть сжались.

— Почему ты так думаешь? — спросил он холодно.

— Я увидела страх в твоих глазах, когда пришло известие о бунте, когда ты отказался отправиться на плантацию и когда я побежала за тобой в переднюю, куда ты пошел за шлемом. Я умоляла тебя, я знала, что хоть и опасно, но ты обязан принять вызов, и вдруг увидела в твоих глазах страх. Это было так жутко, я чуть не потеряла сознание.

— Глупо было бессмысленно рисковать жизнью. С какой стати? На карте не стояло ничего такого, что касалось бы лично меня. Храбрость — добродетель глупых. Я не считаю ее ценным качеством.

— То есть как это на карте не стояло ничего такого, что касалось бы лично тебя? Если это правда, значит, вся твоя жизнь — притворство. Ты легко отбросил то, во что верил, мы оба ве-

рили. Ты нас предал. Мы и вправду ставили себя высоко, считали себя лучше других, потому что любим литературу, искусство, музыку, мы не желали ограничивать свою жизнь мелкой завистью и обывательскими сплетнями, мы дорожили духовными ценностями, любили красоту. Это питало нас. Над нами смеялись, а то и глумились. Этого было не избежать. Невежды и мещане нутром ненавидят и боятся тех, чьи интересы выше их понимания. Но нам было все равно. Мы называли их филистерами, мы презирали их и имели на то право. Нашим оправданием было то, что мы лучше, благороднее, умнее и мужественней, чем они. Но ты оказался не лучше, не благородней, не мужественней. В решающую минуту ты спрятался, как побитая собака, поджав хвост. А ведь из всех людей именно ты не имел права быть трусом. Теперь они презирают нас обоих и имеют на это право. Презирают нас и все, что мы олицетворяли. Теперь они могут говорить, что искусство и красота — вздор. Что, когда приходится туго, такие люди, как ты, всегда подводят. Они все время искали повода наброситься на нас и растерзать — и ты дал им повод. Теперь они вправе говорить, что этого следовало ожидать. Для них это настоящее торжество. Меня, бывало,

приводило в бешенство, что они называли тебя Перси-пуховка. Ты знал, что тебя так называли?

— Конечно. Я считал это прозвище очень вульгарным, но меня оно нисколько не задевало.

— Забавно, что они не обманулись.

— Ты хочешь сказать, что все эти недели осуждала меня, но скрывала это? Вот уж не думал, что ты на такое способна.

— Я не могла тебя бросить, когда все были против тебя. Гордость не позволяла. Я поклялась — что бы ни случилось, я буду с тобой, пока мы не вернемся на родину. Это была пытка.

— Разве ты меня больше не любишь?

— Не люблю? Ты мне гадок!

— Энн!

— Видит Бог, как я любила тебя. Восемь лет я боготворила землю, по которой ты ходишь. Ты был для меня всем. Я верила в тебя, как другие верят в Бога. Когда в тот день я увидела страх в твоих глазах, когда ты сказал, что не станешь рисковать жизнью ради туземной содержанки и ее детей-полукровок, это меня подкосило. Словно у меня вырвали из груди сердце и растоптали. Вот тогда-то ты и убил во мне любовь, Олбен. Убил наповал. С тех пор всякий раз, когда ты целовал меня, мне приходилось стискивать ру-

ки, чтобы не отвернуться. Одна только мысль о близости вызывает у меня физическое отвращение. Мне противны твое самодовольство и твоя ужасная бесчувственность. Может, я могла бы простить тебя, если б то была просто минутная слабость, которой ты потом устыдился. Мне было бы горько, но, думаю, большая любовь к тебе заставила бы меня пожалеть тебя. Но ты не способен испытывать стыд. Теперь я ничему не верю. Ты всего-навсего глупый, претенциозный, вульгарный позер. Я предпочла бы стать женой заурядного плантатора, лишь бы у него были обычные человеческие достоинства, чем быть женой такого фальшивого человека, как ты.

Он не отвечал. Постепенно красивые, правильные черты его лица исказились в гримасу плача, и он разразился громкими рыданиями. Она вскрикнула:

— Не надо, Олбен, не надо.

— Ах, дорогая, как ты можешь быть такой жестокой со мной? Я обожаю тебя. Я отдал бы жизнь, только б ты была довольна. Я не могу без тебя жить.

Она вытянула руки, словно отражая удар.

— Нет, нет, Олбен, не пытайся меня растрогать. Не могу. Я должна уйти. Я не могу больше жить

с тобой. Это было бы ужасно. Я никогда не смогу забыть. Скажу тебе всю правду: ты вызываешь во мне только презрение и отвращение.

Олбен бросился к ее ногам и пытался обнять ее колени, но она, ахнув, отскочила, и он зарылся головой в пустое кресло. Он плакал мучительно, рыдания разрывали ему грудь. Звук их был страшен. Из глаз Энн текли слезы. Зажав уши, чтобы не слышать этих ужасных, истерических рыданий, спотыкаясь, как слепая, она бросилась к двери и выбежала из номера.